

## Розділ 6.

## ФІЛОСОФСЬКІ ЕСЕЇ

DOI: [https://doi.org/10.18524/2410-2601.2021.1\(35\).246748](https://doi.org/10.18524/2410-2601.2021.1(35).246748)

УДК 130.2:7.01:82-1

Елена Соболевская

SCIENCE INDEX (SPIN-код): 3893-7674

## ТОСКА – РОДИНА – РЯБИНА...

## (ОПЫТ ИНТЕРПРЕТАЦИИ СТИХОТВОРЕНИЯ

## М. ЦВЕТАЕВОЙ «ТОСКА ПО РОДИНЕ...»)

Статья посвящена интерпретации стихотворения М. Цветаевой «Тоска по родине! Давно...». Цель статьи – обосновать тоску по родине как фундаментальную духовную настроенность по отношению к миру и средоточие жизнедеятельности. Автор **приходит к выводу**, что поэт тоскует по полноте бытия, по истинной, полноценной в каждом своем моменте жизни, простирающейся на тот свет и на этот. Подлинная родина разрастается до бесконечного универсума в акте поэтизации. Стихосложение есть кардинальный языковой сдвиг, обусловленный внутренним опытом. Поэты погружены в слово, изыскание имён, наделение вещей смыслом, у них всегда сохраняется внутренняя тяга к языку как Дому бытия, жилищу всего сущего. Это и есть та почва, где искомая родина обретается.

**Ключевые слова:** тоска по родине, поэзия, мир как целостность, остранение, язык как Дом бытия.

Когда в 1934 году Марина Цветаева пишет свою *Тоску по родине*, то это уже, так сказать, *особая Цветаева* и *особая тоска*. Я имею в виду не просто многолетний опыт поэта-эмигранта, но прежде всего глубокий жизненный опыт Цветаевой-поэта. Это уже Цветаева, пережившая «Рассвет на рельсах» (*Покамест день не встал С его страстями стравленными – Во всю горизонталь Россию восстанавливаю!*), «Наклон» (*Тяга темени к изголовью Гроба*), «Рас-стояние: версты, мили...», это Цветаева-Эвридика, Цветаева-Сивилла, Цветаева, побывавшая на Горе и с Горы спустившаяся («Поэма Горы» и «Поэма Конца»), Цветаева, переосмыслившая уходы многих своих современников (и в этом отношении ей равных нет), это Цветаева, прошедшая через совместную переписку с Пастернаком и Рильке, причастная единству жизни-смерти «Сонетов к Орфею» и «Дуинских элегий» и элегии одиннадцатой, непосредственно к ней обращенной, это, наконец, Цветаева, выстрадавшая, претерпевшая смерть самого Райнера Рильке и преобразившая её в Новомодном письме на *тот свет* в событие величайшего масштаба. Именно этот опыт, расширенный и углубленный смертью, её осознанием и преодолением, по сути, претворением в слове, переводением в регистр жизни, опыт, простирающийся на мир потусторонний как равноценный миру посюстороннему, и дает ей

основания свободно начать стихотворение с категорического отказа от присущего русской эмигрантской среде в высшей степени обостренного чувства ностальгии по вынужденно оставленной родине.

В данном случае Марина не то чтобы начинает стихотворение с верхнего «до»<sup>1</sup>, но берёт ту самую высокую, болезненную, уже нечеловеческую ноту, которая находится *до* или *поверх* всех ранее известных – ту ноту, которую раньше никто не брал по причине её отсутствия в традиционном звуковом ряду:

Тоска по родине! Давно  
Разоблаченная морока!  
Мне совершенно всё равно –  
Где совершенно одинокой

Быть, по каким камням домой  
Брести с кошелкою базарной  
В дом, и не знающий, что – мой,  
Как госпиталь, или казарма. [Цветаева 1994f: 315]

По-видимому, сказать, что это стихотворение с его неистово пульсирующим лейтмотивом «мне все – равны», «мне всё – равно», «мне всё – едино», с его безоговорочным отказом от какой бы то ни было пространственно-временной обусловленности и категорическим утверждением всякой людской среды (в том числе и эмигрантской) как среды отталкивающей, всякого дома как чуждого, всякого храма как пустого звучит в качестве последнего вызова привычным человеческим устоям – этого сказать мало... Вызов брошен самой поэтической традиции и даже себе-поэту, в любом случае изысканному посредством языка (всегда сохраняющего, по крайней мере, внешнюю национальную определенность), в том числе и посредством языка родного, с молоком матери-земли впитанного:

Не обольщусь и языком  
Родным, его призывом млечным.  
Мне безразлично – на каком  
Непонимаемой быть встречным!  
<..>

Все признаки с меня, все меты,  
Все даты – как рукой сняло:

Душа, родившаяся – где-то. [Цветаева 1994f: 316]

В контексте данного стихотворения родной язык, – при том, что он безоговорочно осознан языком млечным, а значит и вечным, с присущим ему зычным неумолкающим зовом<sup>2</sup>, – воспринимается, равно как и сама

тоска по родине, в качестве «давно разоблаченной мороки». Это мы уже проходили, могла бы сказать Цветаева, знаем, что, когда речь идёт о поэзии, о самом процессе стихосложения и прочтения уже созданного произведения, никакими известными нам языками суть дела не исчерпывается. Так, ещё в 1926 году она писала Рильке: «...у Гёте где-то сказано, что на чужом языке нельзя создать ничего значительного, – я же всегда считала, что это неверно. <...> Поэзия – уже перевод, с родного языка на чужой – будь то французский или немецкий – неважно. Для поэта нет родного языка. Писать стихи и значит перелагать. <...> Я не русский поэт и всегда недоумеваю, когда меня им считают и называют. Для того и становишься поэтом (если им вообще можно стать, если им не являешься отродясь!), чтобы не быть французом, русским и т. д., чтобы быть – всем. Иными словами: ты – поэт, ибо не француз. Национальность – это от- и заключенность. Орфей взрывает национальность...» [Цветаева 1995d: 66–67]. И в продолжение сказанного ещё несколько строк, обращенных к Рильке, по поводу так называемой родины поэта: «Кто ж ты все-таки, Райнер? Не немец, хотя – целая Германия! Не чех, хотя родился в Чехии (NB! в стране, которой еще не было, – это подходит!), не австриец, потому что Австрия *была*, а ты – *будешь*! Ну не чудесно ли? У *тебя* – нет родины!» [Цветаева 1995c: 70].

Не следует, однако, упускать из виду, что Цветаева как поэт всё же ощущала себя русской через стихию слова и что немецкий и русский языки считала ближе всех к языку родному – ангельскому, вненациональному, или же всеязычному языку *того света*, с которого и осуществляется перевод на множество языков<sup>3</sup>. И ежели у поэта нет ни родного языка, ни родины, то это как раз и свидетельствует о том, что у него всегда сохраняется и остается неутоленной глубинная внутренняя тяга к тому особому, ноуменальному, единственно родному языку, *языку как Дому бытия*, который и есть жилище всего сущего и одновременно – та почва, где стихосложением желаемая родина обретается. И все же у поэта, как у человека, есть и родина во времени, и родной материнский язык, родная речь, однако и в этой данной ему от рождения родине он, скорее, ощущает себя изгнанником, нежели полноценным коренным жителем.

Спасением от изгнанничества, путём к подлинной родине становится стихосложение, кардинальный языковой сдвиг, обусловленный внутренним опытом: отстранение от того или иного национального языка, или же кардинальное остранение самого языка в определяющих центрах его общепринятой знаковой координации, каждый раз его узнавание и, соответственно, узнавание, переименование, остранение связанного с ним мира, что предусматривает уход в себя, уединение, сосредоточение,

собираение себя из разрозненности, обретение внутреннего дома, потому как тебя, говорящего на языке странном, отовсюду вытесняют, и в то же время тебе самому невыносимо и невыразимо тесно находиться в рамках языка до тебя узанного, ведущего свои знаковые, поверхностные, не сущностные игры. И ежели сам процесс стихосложения есть отстранение и остранение, исход из мира мер, из языка родного в его эмпирической заданности, то сам стих, произведение так или иначе завершенное, предстает в качестве фрагмента смысла, оказавшегося в плену языка, в качестве неотвратно написанного пропущенными звеньями текста, который на том единственном, «всеязычном» языке поэзиса есть, однако полностью ни на каком языке выписаться никогда не может. В том или ином языке (языках) возможно только явление (множество таковых), но не выражение всеохватывающей полноты бытия. Замечу, что и сам способ Цветаевского стихосложения – ярчайшее тому подтверждение. Она всегда запечатлевает в речи и тем более на письме несравненно меньше, чем во всей очевидности знает/знала до словесно-знаковой оплотненности, и сама же об этом свидетельствует, скажем, в цикле «Куст» (1934), написанном практически одновременно с *Тоской по родине*: «Да вот и сейчас, словарю Придавши бессмертную силу, – Да разве я *то* говорю, Что знала, пока не раскрыла Рта, знала еще на черте Губ, той – за которой осколки... И снова, во всей полноте, Знать буду, как только умолкну» [Цветаева 1994с: 318]<sup>4</sup>.

В данной связи важно обратить внимание на финальные строки *Тоски по родине*. Именно к ним с неимоверной скоростью устремлен весь предшествующий крайне напряженный текст. И эти финальные строки, как и должно быть, по силе не уступают ни началу с его категорически однозначным определением тоски по родине как мороки, марева, иллюзорного состояния, ни дальнейшему ходу стиха с его новыми и новыми разоблачениями:

Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,  
И всё – равно, и всё – едино.  
Но если по дороге – куст  
Встает, особенно – рябина... [Цветаева 1994f: 316].

Казалось бы, куда выше – всё перечислила, от всего отстранилась и тем самым окончательно остранила перечисленное. Строка за строкой текст накапливал смыслы и разрастался, подобно снежному кому, и вдруг – грядущее предполагается, однако отсутствует, и отсутствует в высшей степени красноречиво. Стихотворение закончено тем, что оно не закончено, это и есть его окончание: само остановилось на нужном ему слове, дальнейший словесный ряд в любом случае был бы излишен и однозначно беден.

Демонстративный отказ от конца в его вербальной данности – случай в области поэтического искусства далеко не единичный. Положение вещей такого рода Ю. М. Лотман определяет как *семантический взрыв*. Размышляя о стихотворении А. Пушкина «Осень» (1833), учёный пишет: «Стихотворение, начатое целым набором знаков застывания, перехода от движения к неподвижности, от жизни к смерти, завершается подлинным взрывом динамики, открывающим простор миру интерпретаций. Можно сказать, что стихотворение имеет начало, но вместо конца в нем – семантический взрыв. Каждое новое прочтение в принципе может расширять и изменять направленность его общего смысла» [Лотман 2001: 516]. Замечу, однако, что в произведении Пушкина так называемый семантический взрыв если и не жестко, то, по крайней мере, вполне обусловлен, он всё же не происходит *вдруг ни с того ни с сего*. Во-первых, «Осень» имеет второе название – Отрывок, что уже является подготовкой к отказу от традиционного классического финала; во-вторых, в последней части Пушкинского текста речь идёт о самом процессе стихосложения, который, по сравнению с безупречной циклической закономерностью жизни природы и монотонной сменой времен года, совершенно непредсказуем, и его непредсказуемость не оговаривается, не фиксируется вербально – поэт эту непредсказуемость воочию показывает и повинуется ей также, как мог бы повиноваться и свободному течению стихов, если бы оно действительно было свободным. Более того – текст Пушкина (во всяком случае, по Академическому изданию) заканчивается не многоточием, а двумя минус-стихами, что, в свою очередь, предполагает возможные варианты прочтения, а не безоговорочный конец, или, как говорит Лотман, открывает простор миру интерпретаций. Однако в Цветаевском стихотворении мы ничего подобного не находим. Стремительно движущийся текст остановлен на половине предложения, и к тому же – в конце его придаточной части, непреложно требующей продолжения/завершения («**Но если** по дороге – куст Встает, особенно – рябина...»). Семантический взрыв не обусловлен, он происходит, скорее всего, и для самого автора не иначе как *вдруг* (что, тем не менее, не даёт оснований исключать каких-либо строк, самим автором мысленно выписанных). И в этой необусловленности его колоссальная сила: поэтическая смысловая интонация не только не ослабляется, но восполняется, что, конечно же, связано в том числе и с символической насыщенностью имеющегося финала.

Куст рябины, неожиданно возникающий на пути, как столп истины, как то, что никакими заговорами и уговорами с места не сдвинешь и не переиначишь, прежде всего – яркое свидетельство родины поэта, родины

вполне определённой и вполне определённой православным календарём даты рождения – 26 сентября, день преставления Иоанна Богослова, день рождения Марины Цветаевой.

Красною кистью  
Рябина зажглась.  
Падали листья,  
Я родилась.  
Спорили сотни  
Колоколов.  
День был субботний:  
Иоанн Богослов.  
Мне и доньше  
Хочется грызть  
Жаркой рябины  
Горькую кисть [Цветаева 1994b: 273–274].

И тем не менее рябину, как и березу, а через них – родину, можно встретить и за пределами строго определённой историко-географическими границами местности. Рябина, ягода горькая, терпкая, ассоциируется с горечью утраты, с горьким хлебом изгнания... И всё же Цветаева не допускает никакой чувственной, сентиментальной расхлябанности (это была бы уже не Цветаева, а «баба style gusse»<sup>5</sup>), не проговаривает дальнейшего и волевым усилием завершает произведение, то есть свою тоску по родине, отсутствием каких бы то ни было строк на каком бы то ни было языке (тем более на русском) – не одевает встречу с рябиной в национальную плоть, не позволяет безмерное мерой измерять. Оставшееся – молчание, но при этом – не отречение, и оно безусловно большее, чем то, что можно было проговорить.

Пребывание за пределами родины, родной земли и родной речевой среды не означает окончательной утраты и бессмысленной гибели на чужбине, но служит непреложным основанием непрерывного восстановления родины в духе и одновременно – выстраивания, восстановления самого духа, самой души и духовной жизни как жизни преодолевающей необратимость расставания, ностальгирующей по вездесущему Дому, как жизни стремящейся за границы самое себя в иной, бесконечно расширяющийся/углубляющийся горизонт вневременно-пространственного плана бытия... И ежели родина каким-то неизбежным, неконтролируемым образом связывается с малым, наглядным, до боли узнаваемым, то это не уступка миру мер, не повиновение естественному человеческому желанию в плену мер оказаться, но стремление через малое, меру и предел имеющее, за границы видимого – к миру в его безмерности

и беспредельности. Поэту негде приклонить голову на земле, ибо он по природе своей – *слепец и пасынок*, а не тот, кто *отч и зряч*. И такое понимание родины и своей по отношению к родине участности у Цветаевой было практически всегда. Ещё на первых порах эмиграции, отвечая на анкету пражского журнала «Своими путями», она писала: «Родина не есть условность территории, а непреложность памяти и крови. Не быть в России, забыть Россию – может бояться лишь тот, кто Россию мыслит вне себя. В ком она внутри, – тот потеряет ее лишь вместе с жизнью. Писателям типа А. Н. Толстого, то есть чистым бытовикам, необходимо <...> воочию и воушию наблюдать частности спешащего бытового часа. Лирикам же, эпикам и сказочникам, самой природой творчества своего дальноржим, лучше видеть Россию издалека <...>. Вопрос о возврате в Россию – лишь частность вопроса о любви-вблизи и любви-издалека, о любви-воочию – пусть искаженного до потери лика, и о любви в духе, восстанавливающей лик» [Цветаева 1994e: 618–619]<sup>6</sup>.

И чем более родина в своей эмпирической данности, узости земных границ с годами отдаляется, тем более укрепляется ощущение себя как вечного изгнанника и скитальца на земле, независимо от времени и местонахождения непреложно восстанавливающего лик родины в духе – родины не как определенной страны земной карты, но как целостного образа единения, стяжания сущностей всех вещей в их нераздельной взаимосвязанности. Поэт всё глубже укореняется в *неизменном отсутствии тем не менее явственно присутствующей родины*, поскольку он такое положение вещей задает, наделяет смыслом и в смысле удерживает. И ежели философия, а точнее, сам процесс философствования, определяется Новалисом и вторящим своему предшественнику Хайдеггером как *ностальгия, как тоска и боль по родине, как тяга и потребность повсюду быть дома* («Die Philosophie ist eigentlich Heimweh, ein Trieb, überall zu Hause zu sein»), а сама тоска по родине как *фундаментальное настроение философствования* («das Heimweh als die Grundstimmung des Philosophierens») [Heidegger 1992: 7–10], то такие различия не в меньше, а даже в большей степени присущи поэзии, и точнее – самому процессу поэтизации, или стихосложения.

Тоска по родине – фундаментальная настроенность по отношению к миру как целому, к миру как своему единственному Дому, неизбывное стремление в любое мгновение жизни и, вместе с тем, одновременно повсеместно Дома быть: через слово, через пространство поэтическое повсюду вживаться, становиться, повсюду быть всем, находиться при сути вещей, не утрачивая при этом себя как безмерно тоскующего, испытывающего хроническую боль причастности состоянию неизменно

родящегося смысла целого, его духовного становления и восстановления. Тяготение повсюду быть дома – тяготение к смыслу, Логосу, обнаруживающемуся в слове и через слово: говорить не о чём-то определённом, не о мире и его частностях как об отчужденных объектах (как об «он», «она», «оно»), не противостоять миру, – ибо мир закрыт перед противостоящим ему субъектом, – но быть открытым миру, дать вещам проникнуть в себя, и обнаружить себя как нераздельно и неслиянно с вещами и миром в целом взаимосвязанного.

Поэту не нужно непременно идти на родину и к родине как конкретному месту, не нужно уподобляться Орфею, превысившему свои полномочия и оказавшемуся в том, безвидном мире всего лишь призраком среди вовнутрь зрящих сущностей. Ему нужно петь родину, собирать её по крупницам из несущего в своей разрозненности мира, голосом-бытием из небытия выводить на свет – в бытие.

Если б Орфей не сошел в Аид  
Сам, а послал бы голос

Свой, только голос послал во тьму,  
Сам у порога *лишим*  
Встав, – Эвридика бы по нему  
Как по канату вышла...

Как по канату и как на свет,  
Слепо и без возврата.  
Ибо раз *голос* тебе, поэт,  
Дан, остальное – взято [Цветаева 1994а: 323–324].

Взято действительно всё, в том числе и родина, а возможно – и родина прежде всего, дабы её духовное обновление и восстановление не прекращалось.

### Примечания

<sup>1</sup> В статье «Поэт и проза» И. Бродский пишет: «Марина часто начинает стихотворение с верхнего “до”, – говорила Анна Ахматова. То же самое, частично, можно сказать и об интонации Цветаевой в прозе. Таково было свойство ее голоса, что речь почти всегда начинается с *того* конца октавы, в верхнем регистре, на его пределе, после которого мыслимы только спуск или в лучшем случае плато. Однако настолько трагичен был тембр ее голоса, что он обеспечивал ощущение подъема при любой длительности звучания. Трагизм этот пришел не из биографии: он был *до*. Биография с ним только совпала, на него – эхом – откликнулась» [Бродский 2001: 133].

<sup>2</sup> Здесь необходимо учитывать и дальнейший ассоциативный ряд: зёв – место, где укреплен язык как орган порождения звуков, речи, небо – купол рта, а затем и купол церкви, уходящий в небо, язык колокола, издающий колокольный звон, зов... В письме к Р.-М. Рильке от 2-го августа 1926 года Цветаева пишет: «Рот я всегда ощущала как мир: небесный свод, пещера, ущелье, бездна. Я всегда переводила тело в душу (развоплощала его!)...» [Цветаева 1995с: 69].

<sup>3</sup> «Русская я только через стихию слова. Разве есть русские (французские, немецкие, еврейские и пр.) чувства? Просторы? Но они были и у Атиллы, есть и в прериях. Есть чувства временные (национальные, классовые), вне-временные (божественные: человеческие) и до-временные (стихийные). Живу вторыми и третьими. Но дать голую душу – без тела – нельзя, особенно в большой вещи. Национальность – тело, т. е. опять одежда» [Цветаева 1997: 184]; «...немецкий ближе всех к родному. Ближе русского, по-моему. Ещё ближе» [Цветаева 1995d: 67]; см. также в «Новогоднем»: «...пусть русского родней немецкий Мне, всех ангельский родней!» [Цветаева 1994d: 133].

<sup>4</sup> Замечу, что и сам способ стихосложения Цветаевой (знаки препинания, особенно тире, двоеточие, скобки, а также анжабеманы и пропуски текста) могут рассматриваться как стремление преодолеть несовершенство языка (письма) и дополнить его необходимыми указателями смыслового и эмоционального акцентирования. По этому же поводу, кстати говоря, сетовал и Осип Мандельштам, который, хотя и писал «пропущенными звеньями», однако в знаках препинания с таким усердием не упражнялся: «В отличие от грамоты музыкальной, от нотного письма, например, поэтическое письмо в значительной степени представляет большой пробел, зияющее отсутствие множества знаков, указателей, подразумеваемых, единственно делающих текст понятным и закономерным. Но все эти знаки не менее точны, нежели нотные знаки или иероглифы танца; поэтически грамотный читатель ставит их от себя, как бы извлекая их из самого текста» [Мандельштам 1990: 212–213].

<sup>5</sup> Обращаясь к Александру Бахраху, Цветаева, в частности, благодарилась за то, что он как литературный критик не делал из нее «бабу *style russe*» [Цветаева 1997: 136]. В данной связи также знаменательны и следующие строки: «А у нас весна: вербы! Пишу, а потом лезу на гору. Огромный разлив реки: из середины островка деревьев. Грохот ручьев. Русь или нет, – люблю и никогда не буду утверждать, что у здешней березы – “дух не тот”» [Цветаева 1995b: 521].

<sup>6</sup> Существенным дополнением к сказанному могут служить размышления Цветаевой о книге кн. Сергея Волконского «Родина», в ходе которых она сначала цитирует созвучные ей самой строки, и далее, отталкиваясь от

нужного слова, уже в свойственной ей поэтической манере переосмысливает, наделяет именем, узнает и воочию показывает сокрытый в формальных элементах языка/речи образно-звуковой смысл: «“Она (Родина) будет не реальна, но она будет сильна в своей метафизичности, она не будет *вне* нас, но тем сильнее будет в нас, она лишится узости земных границ и получит беспредельность личного сознания. И если, отрешаясь от земных условий”... Отрешение, вот оно мое до безумия глаз, до обмирания сердца любимое слово! Не отречение (старой женщины от любви. Наполеона от царства!), в котором всегда горечь, которое всегда скрепя сердце, в котором всегда разрыв, разрез души, не отречение, которое я всегда чувствую живой раной, а: отрешение, без свищущего ч, с нежным замшевым ш, – шелест монашеской сандали о плиты, – отрешение: листвы от дерева, дерева от листвы, естественное, законное распадение того, что уже не вместе, отпадение того, что уже не нужно, что уже перестало быть насущностью, т. е. уже стало лишностью: шелестение истлевших риз» [Цветаева 1995а: 260].

#### Список использованной литературы

- Бродский, И. А. (2001) *Поэт и проза*, в: Бродский, И. А. *Сочинения*, в 7 т., т. 5, Санкт-Петербург: Пушкинский фонд, сс. 129–141.
- Лотман, Ю. М. (2001) *Две «Осени»*, в: Лотман, Ю. М. *О поэтах и поэзии*, Санкт-Петербург: Искусство–СПБ, сс. 511–520.
- Мандельштам, О. Э. (1990) *Выпад*, в: Мандельштам, О. Э. *Сочинения*, в 2 т., т. 2, Москва: Художественная литература, сс. 211–213.
- Цветаева, М. И. (1994а) *Есть счастливицы и счастливицы...*, в: Цветаева М. И. *Собрание сочинений*, в 7 т., т. 2, Москва: Эллис Лак, сс. 323–324.
- Цветаева, М. И. (1995а) *Кедр*, в: Цветаева М. И. *Собрание сочинений*, в 7 т., т. 5, Москва: Эллис Лак, сс. 246–270.
- Цветаева, М. И. (1994б) *Красною кистью...*, в: Цветаева М. И. *Собрание сочинений*, в 7 т., т. 1, Москва: Эллис Лак, сс. 273–274.
- Цветаева, М. И. (1994с) *Куст*, в: Цветаева М. И. *Собрание сочинений*, в 7 т., т. 2, Москва: Эллис Лак, сс. 317–318.
- Цветаева, М. И. (1997) *Неизданное. Сводные тетради*, Москва: Эллис Лак, 640 с.
- Цветаева, М. И. (1994д) *Новогоднее*, в: Цветаева М. И. *Собрание сочинений*, в 7 т., т. 3, Москва: Эллис Лак, сс. 132–136.
- Цветаева, М. И. (1994е) <Ответ на анкету журнала «Своими путями»>, в: Цветаева М. И. *Собрание сочинений*, в 7 т., т. 4, Москва: Эллис Лак, сс. 618–620.
- Цветаева, М. И. (1995б) *Письмо Р. Б. Гулю, 9-го февраля 1923 г.*, в: Цветаева

- М. И. *Собрание сочинений*, в 7 т., т. 6, Москва: Эллис Лак, сс. 518–521.
- Цветаева, М. И. (1995с) *Письмо Р.-М. Рильке, 2-го августа 1926 г.*, в: Цветаева М. И. *Собрание сочинений*, в 7 т., т. 7, Москва: Эллис Лак, сс. 68–71.
- Цветаева, М. И. (1995д) *Письмо Р.-М. Рильке, 2-го июля 1926 г.*, в: Цветаева М. И. *Собрание сочинений*, в 7 т., т. 7, Москва: Эллис Лак, сс. 66–68.
- Цветаева, М. И. (1994ф) *Тоска по родине! Давно...*, в: Цветаева М. И. *Собрание сочинений*, в 7 т., т. 2, Москва: Эллис Лак, сс. 315–316.
- Heidegger, M. (1992) *Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt – Endlichkeit – Einsamkeit*, in: Heidegger M. *Gesamtausgabe*, bd. 29/30, Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 544 p.

Олена Соболевська

#### ТОСКА – РОДИНА – РЯБИНА...

#### (СПРОБА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ВІРША М. ЦВЕТАЄВОЇ «ТОСКА ПО РОДИНЕ ...»)

Стаття присвячена інтерпретації вірша М. Цветаєвої «Тоска по родине! Давно...». **Мета статті** – обґрунтувати тугу за батьківщиною як фундаментальну духовну настроєність щодо світу та осередок життєдіяльності. Автор **приходить до висновку**, що поет тужить за повнотою буття, за істинним, повноцінним в кожному своєму моменті життям, що поширюється на той світ і на цей. Справжня батьківщина розростається до нескінченного універсуму в акті віриування. Віриування є кардинальний мовний зсув, обумовлений внутрішнім досвідом. Поети занурені в слово, вишукування імен, наділення речей смислом, у них завжди зберігається внутрішній потяг до мови як Дому буття, оселі усього суцього. Це і є той ґрунт, де шукана батьківщина знаходиться.

**Ключові слова:** туга за батьківщиною, поезія, світ як цілісність, очуднення, мова як Дім буття.

Elena Sobolevskaja

#### YEARNING – HOMELAND – ROWAN...

#### (ATTEMPT OF INTERPRETATION M. TSVETAJEVA'S POEM "HOMESICKNESS...")

The article is an attempt of interpretation of M. Tsvetaeva's poem "Homesickness! Long ago...". **The aim of the article** is to justify homesickness as the fundamental spiritual attunement to the world and the core of life activity. **The author concludes** that, the poet yearns for the fullness of being, for the true, full-blown in each moment life that reaches not only this world, but also the other one. In the act of poeticizing the poet falls out of impersonal

and indifferent daily routine into a value-meaningful, personal hourly, minute-by-minute existence. Poeticizing is a cardinal linguistic shift, determined by the inner experience: distancing from any national language, or a cardinal defamiliarization of the language in the constitutive centres of its conventional symbolic coordination, recognizing it every time and, accordingly, recognizing, renaming, defamiliarizing of the world. It presupposes self-immersion, solitude, concentrating, gathering oneself, finding the inner home. The poet's true homeland expands into the infinite universe where each thing is present in its own unique meaning. Staying outside the homeland and homeland-speaking milieu does not mean a total loss of homeland and a meaningless destruction in a foreign land, but serves as an indispensable basis for regaining of the homeland in spirit. More than anybody else poets are immersed into the word, in search for the names, in giving meanings to things; they constantly have an inner yearning to language as the House of Being, the dwelling of all things. That is the field where the desired homeland is found.

**Keywords:** homesickness, poetry, defamiliarizing, world as the wholeness, language as the House of Being.

#### References

- Brodskij, I. A. (2001) *Pojet i proza* [Poet and prose], v: *Brodskij, I. A. Sochinenija*, v 7 t., t. 5, Sankt-Peterburg: Pushkinskij fond, pp. 129–141.
- Lotman, Ju. M. (2001) *Dve «Oseni»* [Two “Autumns”], v: *Lotman, Ju. M. O pojetah i pojezii*, Sankt-Peterburg: Iskustvo–SPB, pp. 511–520.
- Mandelshtam, O. Je. (1990) *Vypad* [Thrust], v: *Mandel'shtam, O. Je. Sochinenija*, v 2 t., t. 2, Moskva: Hudozhestvennaja literatura, pp. 211–213.
- Cvetaeva, M. I. (1994a) *Estschastlivcy i schastlivicy...* [There are lucky ones...], v: *Cvetaeva M. I. Sobranie sochinenij*, v 7 t., t. 2, Moskva: Jellis Lak, pp. 323–324.
- Cvetaeva, M. I. (1995a) *Kedr* [Cedar], v: *Cvetaeva M. I. Sobranie sochinenij*, v 7 t., t. 5, Moskva: Jellis Lak, pp. 246–270.
- Cvetaeva, M. I. (1994b) *Krasnoju kistju...* [With a red bunch...], v: *Cvetaeva M. I. Sobranie sochinenij*, v 7 t., t. 1, Moskva: Jellis Lak, pp. 273–274.
- Cvetaeva, M. I. (1994c) *Kust* [Bush], v: *Cvetaeva M. I. Sobranie sochinenij*, v 7 t., t. 2, Moskva: Jellis Lak, pp. 317–318.
- Cvetaeva, M. I. (1997) *Neizdannoe. Svodnye tetradi* [Unpublished. Combined notebooks], Moskva: Jellis Lak, 640 p.
- Cvetaeva, M. I. (1994d) *Novogodnee* [New Year's], v: *Cvetaeva M. I. Sobranie sochinenij*, v 7 t., t. 3, Moskva: Jellis Lak, pp. 132–136.
- Cvetaeva, M. I. (1994e) <Otvety na anketu zhurnala “Svoimi putjami”> [Answers

- to the questionnaire from the journal “In Our Own Ways”], v: *Cvetaeva M. I. Sobranie sochinenij*, v 7 t., t. 4, Moskva: Jellis Lak, pp. 618–620.
- Cvetaeva, M. I. (1995b) *Pismo R. B. Gulju, 9-go fevralja 1923 g.* [Letter to R. B. Gul, 9 February 1923], v: *Cvetaeva M. I. Sobranie sochinenij*, v 7 t., t. 6, Moskva: Jellis Lak, pp. 518–521.
- Cvetaeva, M. I. (1995c) *Pismo R.-M. Rilke, 2-go avgusta 1926 g.* [Letter to R.-M. Rilke, 2 August 1926], v: *Cvetaeva M. I. Sobranie sochinenij*, v 7 t., t. 7, Moskva: Jellis Lak, pp. 68–71.
- Cvetaeva, M. I. (1995d) *Pismo R.-M. Rilke, 2-go ijulja 1926 g.* [Letter to R.-M. Rilke, 2 July 1926], v: *Cvetaeva M. I. Sobranie sochinenij*, v 7 t., t. 7, Moskva: Jellis Lak, pp. 66–68.
- Cvetaeva, M. I. (1994f) *Toska po rodine! Davno...* [Homesickness! Long ago...], v: *Cvetaeva M. I. Sobranie sochinenij*, v 7 t., t. 2, Moskva: Jellis Lak, pp. 315–316.
- Heidegger, M. (1992) *Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt – Endlichkeit – Einsamkeit*, in: *Heidegger M. Gesamtausgabe, bd. 29/30*, Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 544 p.

Стаття надійшла до редакції 13.05.2021

Стаття прийнята 12.06.2021